

Саломея

Приключения, почерпнутые
из моря житейского.
Александр Фомич Вельтман.

Начало см. № 54

Продолжение...



КНИГА ТРЕТЬЯ

Часть девятая

II



В гостеприимном караван-сараяе, находящемся на перепутье из театра в собрание, есть тьма отделений, номеров, номерков, уютных для приезжих, проезжих, для скитальцев и путешественников, для странников вообще и для странников в особенности, для хаджей и даже для пилигримов с блондовой бородкой.

Одно из отделений этого караван-сарая только что занял какой-то приезжий: мужчина средних лет, статный, лицо худощаво, но румянец во всю щеку, глаза голубые, а волосы как смоль, одет по-дорожному, но сообразно форме, отдаваемой в ежедневных приказах моды, с тою только разницею, что вместо мешковатого пальто на нем была богатейшая бархатная венгерка, изуроченная шнурками. По наружности, по всем приемам и по речи нельзя было определить, к какой, собственно, нации принадлежал он. Казалось, что это был воплощенный космополит, европеец неопределенного языка, *vagabond*, объехавший для препровождения времени весь свет и посетивший на закуску - Россию. С своим слугой-немцем, он говорил по-немецки как француз; с французом-чичероне - по-французски как англичанин; с половым - по-русски как чех, и в дополнении пересыпал свои речи латинскими, итальянскими и даже турецкими восклицаниями; а распевал и бранился на всех земных языках.

На вопрос полового у камердинера, кто таков его барин, немец отдул отвислую губу и, подняв указательный палец, отвечал:

- Это магнат унгарски Волобуж, слышишь?

- Нет, брат, не слышу; кто такой?

- Это великий господин, магнат унгарски Волобуж, слышишь?

- Нет; ну-ко еще.

- Хе! - сказал немец, усмехаясь, - это тебе *gross Kurios! fine wunderliche Sache!*

- Иоганн! - крикнул путешественник по-немецки, пыхнув дымом сигары и остановясь посреди комнаты, - здесь скверно пахнет! Как ты думаешь?

- Скверно пахнет? - спросил немец-отвислая губа, - позвольте, мейн-гер, я понюхаю.

И Иоганн, как легавая собака, вытянул шею, поднял нос и начал нюхать душную атмосферу отделения.

- Ну, понюхай еще, - сказал венгерский магнат, - а потом неси шкатулку и вещи назад в дормез. В этой «Москве» я не остаюсь. Гей, бир-адам! *Seigneur serviteur*, как твое имя?

- Мое имя Андре, - отвечал француз.

- Есть тут какой-нибудь «Лондон»?

- И очень близко отсюда, если только вам угодно,

- Очень угодно: только с тем, чтоб и в «Лондоне» не было такого же натурального запаха.

- Как это возможно! будьте спокойны; я пойду сейчас же займу лучший номер.

- Если невозможно, так едем в «Лондон».

- Что ж, ваше сиятельство, не понравился номер? Мы вашей милости другой покажем, - сказал приказчик гостиницы.

- Что ты говоришь? - спросил его магнат.

- Да вот вашей милости, может быть, номер не понравился, так другой извольте посмотреть.

- Ты что, что говоришь? а? - спросил он снова, выходя из номера.

- Черт их разберет, этих немцев, - сказал приказчик, махнув рукой, - и сами ничего не понимают, и их не поймешь!

У подъезда стоял, хоть и не новомодный на лежачих рессорах, но славный дормез со всеми удобствами для дороги, придуманный не хуже походного дормеза принца Пюклер-Мюскау. Немецкий человек Иоганн был уже наготове принять господина своего под руку и посадить в экипаж; но его задержал па крыльце какой-то отставной, низко поклонился ему, встал перед ним навтыжку, держа шляпу в левой руке, и начал излагать, запинаясь, свою покорнейшую просьбу помочь страждущему неизлечимой болезнью, погруженному в крайнюю бедность и имеющему жену и пятерых человек детей мал мала меньше.

Венгерский магнат уставил на него глаза с удивлением, осмотрел с ног до головы, как чудо, какого еще не видывал, и, выслушав долгую речь, спросил:

- Жена?
- Так точно: жена-с... ваше сиятельство, - повторил отставной, - и пятеро человек детей...
- И пятеро детей?
- Так точно-с...
- Что-о, что вы говорите?
- Пятеро-с, - проговорил отставной, отступив с испугом.
- Жаль, мало; только пятеро!... - сказал магнат, вынимая кошелек, - вот вам по червонцу на человека; если б было больше, больше бы дал... считайте, пять?.. Только пятеро детей?
- Ваше сиятельство, - сказал отставной, у которого от радостного чувства тряслись руки и разбежались глаза, смотря на горсть золота, - жена на сносе, прибавьте на шестого...
- Хорошо; а может быть, жена ваша родит двойни?
- Всегда двойни родит, ваше сиятельство, всегда, вот и прошлый раз двойни родила...
- Ну, вот еще два.
- На родины, на крестины понадобятся деньги...
- Ну, об этом поговорим после; приходите как-нибудь на днях; я буду стоять в «Лондоне».
- Слушаю, ваше сиятельство...
- Ну-ну-ну! ступайте себе, пока назад не отнял! Отставной опрометью бросился от магната Волобужа, который посмотрел ему вслед, пожав плечами.

Француз Андре также пожал плечами. Он пришел в ужас, заметив такую щедрость путешественника.

- Пропадные деньги, совершенно пропадные! - сказал он со вздохом, - я обязан предостеречь вас; вы думаете, что это в самом деле несчастный офицер? Это мошенник; их здесь тьма ходит. Они вас оберут, monsieur... le comte, - прибавил Андре, не зная, как величать путешественника.

- Оберут? неужели? какое горе!
- Ей-богу, оберут! как это можно давать столько! Им ничего не надо давать... этим бездельникам, попрошайкам! нищим!

- Тебя как зовут?
- Андре, monsieur.
- Вот видишь, Андре-monsieur, знаешь ли ты разницу между нищим и плутом?
- Non, monsieur.
- Так я тебе скажу: нищий напрашивается на деньги, а плут на услугу. Понял? И прекрасно; довольно рассуждать. Что ж «Лондон»?

- Я уж был там; самый лучший номер готов,
- Умные ноги!

Венгерский магнат вскочил в дормез, Иоганн взлез на козлы, ямщик чмокнул, подернул вожжами.

Поехали. Андре бежал следом, или доехал на запятках, но у подъезда гостиницы «Лондон» он встретил и высадил магната из кареты и повел по длинному, довольно сальному коридору до номера.

- Господин покорнейший мой слуга, как бишь тебя зовут?
- Андре, monsieur.
- Ну, Андре-monsieur, лондонская атмосфера и чистота, кажется, не лучше московской?
- Номер прекрасный.
- Правда, номер лучше. Иоганн! как ты думаешь? Понюхай, хорошо ли пахнет?
- Ха! - отвечал Иоганн, приподняв важно отвислую губу, - здесь всё recht. Всё как следует для одной такой Obrigkeit как ваша высокородность. Ничего не можно сказать худого. По стенам бесподобнейшие картины. Занавесы прекрасные на окнах, ковры... ja! ailes ist recht. Вот и клавиры, можно музыку играть... и все, как следует. И кабинет есть, стол письменный. Это немецкая работа! Тотчас видно! Я тотчас узнаю немецкую работу!

Иоганн обратил особенное внимание на немецкую работу стола и распространился, рассматривая его со всех сторон и выдвигая ящики, о немецкой аккуратности.

- Что, хорош стол? - спросил магнат.
- О! - произнес Иоганн, приподняв отвислую губу.
- Ну, понюхай его и ступай выбирать все из кареты; да скорее мне одеваться!
- Нельзя же все вдруг, mein Herr; надо все по порядку сделать.
- Ну, ну, ну, готс-доннер-веттер! - прикрикнул магнат Волобуж, раскинувшись на диване.
- А ты, как бишь тебя?
- Андре.
- Андре, скажи, чтоб подали обедать, да мне нужна коляска на английских рессорах, да билет в театр, в собрание или в клуб, повсюду, где только можно убивать время позволительным образом. Слышишь?

- Слушаю.
- Ну, ступай! Я для скуки и уединения не создан, - продолжал про себя Волобуж, садясь обедать, - я и есть один не могу. Подай шампанского! И пить один не могу! Кругом тишина и спокойствие! Очень весело: слышно, как собственный рот жует и нос сопит. Иоганн, убирай! Роскошь, а не жизнь! блаженство посреди мук, волнений, тревожностей, громов и молний... И так,

я вступаю в новый свет, как Колумб. Знакомлюсь с московскими дикарями... они, говорят, народ гостеприимный, любят и уважают всех иноземных пришельцев и мимошельцев, скитающихся мудрецов и бродящих артистов и художников. Иоганн! Готово?

Иоганн привел все в порядок, подал барину одеваться, проводил его до коляски, сказал по-немецки: «Господь с вами!» - и пошел совершенствовать устроенный порядок, переключать и переставлять вещи с места на место, всматриваться и вглядываться, действительно ли всё на месте и нет ли какого-нибудь упущения.

Магнат Волобуж отправился в театр и был вполне доволен тем впечатлением, которое произвело первое его появление в публике. Взоры дам из лож сосредоточились на новое замечательное лицо, как лучи к фокусу зажигательного стекла.

- Это лучшие проводники ко всем земным благам, - говорил Волобуж почти вслух, обводя зрительную трубку по рядам лож. - Очень, очень милы! Прелесть! Право, я ни в Лондоне, ни в Париже, ни в Вене, ни в одной из европейских столиц не видал таких хорошеньких!

- Вы, без сомнения, путешественник? - спросил его сосед, взоры которого также блуждали по бенуару и бельэтажу, а улыбка проявляла внутреннее довольствие, что весь Олимп театра не сводил с него глаз.

- Я путешественник, - отвечал Волобуж, - и удивляюсь необыкновенной красоте здешних дам. Совершенно особенный тип! Тип оригинальный, какого я не видал в целой Европе! Ah! per mai fe! Я не нагляжусь!

- Нам очень лестно это слышать; но вы изменяете вашим соотечественницам.

- Goddem! my heart goes pitt-a-patt! Я изменяю своим соотечественницам?

- Вы англичанин?

- Gott bewahre!

- Немец?

- И того меньше; я маджар.

- Ах, я что-то слышал; не вы ли ездили для исследования языка мещеряков?

- Нисколько.

- Говорят, что мещера и маджары составляли одно племя?

- Кажется; но мои предки происходят от славян.

- От славян? О, так недаром вам нравится русская красота.

- Родная! Не могу не восхищаться! Что за энергия во взорах, в чертах!

- Посмотрите на даму в золотой наколке, во второй ложе.

- Ах, не отвлекайте меня от всех к одной; я не могу ни одной отдать предпочтения: каждая - красавица в своем роде.

- Помилуйте, посмотрите, какие рожи сидят в третьей ложе.

- Рожи? Что вы это! Вы, верно, присмотрелись к красоте наших дам, или ваш вкус односторонен, или у вас мода на какую-нибудь условную форму лица? А эта дама, кто такая?

- Это Нильская.

Поднявшаяся занавесь прервала разговор. По окончании театра собеседники расстались знакомцами.

- С этим приятелем не далеко уйдешь, - сказал магнат Волобуж, садясь в свой экипаж, - это, кажется, сам ищейная собака.

На другой день поутру Андре явился с билетом для входа и Московский музей.

- Музей редко открывается, и трудно достать билет, - сказал он, - но я на ваше имя выпросил у самого генерала, директора.

- Это умно; так ты покажешь мне его, я лично хочу поблагодарить за это одолжение.

В оружейной палате был общий впуск, и потому Андре с трудом провел магната сквозь непроходимые толпы народа к восковой фигуре ливонского рыцаря на коне.

- Фу, дурак, куда меня завел? Ну, говори, кто это такой?

- Это? Это древний герой.

- Как его зовут?

- Вот я спрошу. - И Андре спросил у стоявшего подле фигуры солдата, как зовут человека, что на коне?

- Какой человек, это богатырь! - отвечал солдат.

- С кем же он воевал? И этого не знаешь? - спросил Волобуж.

- Нет, знаю, мосьё, он воевал с татарами, - отвечал Андре, отскочив от какого-то господина, который остановился подле и смотрел на проходящие толпы.

- Это кто?

- Это один из вельмож московских, - тихо отвечал Андре.

- А, прекрасно! - сказал магнат, подходя к довольно плотному барину со спесивой наружностью. - Извините меня, если я вас беспокою вопросом.

- Что прикажете?

- Я путешественник. Тут столько любопытного, но никто не может мне объяснить... Мне желательно знать, кто этот русский рыцарь на коне?

- Вы путешественник? - сказал барин, не обращая внимания на вопрос, - о, так вам надо познакомиться с директором. Я сам ищу его, но сквозь эти толпы не продерешься. Пойдемте вместе. Вы недавно приехали в Россию?

- Очень недавно, вчера.
- Откуда?
- Как вам сказать... Я кружу по целому миру; любопытство видеть Россию завлекло меня на край света.
- В самом деле, мы живем на краю света. Хоть бы немножко поближе к Европе! Скоро, однако, железная дорога сократит путь. Как вы нашли Россию? - проговорил вельможный барин, произнося невнимательно все слова.
- Чудная страна, удивительная страна! - отвечал Волобуж, - во всех отношениях не похожая на Европу!
- Не правда ли, совершенная Азия?
- Но что за воздух! Живительный воздух! Надо отдать справедливость, здесь воздух гораздо прозрачнее всех стран, где я ни был.
- Да, да, да, на воздух пожаловаться нельзя; но климат убийственный.
- Климата я еще не знаю.
- Вы увидите, - сказал рассеянно вельможный барин, уставив лорнет на проходящих дам: - Недурна, очень недурна! Кто это такая?
- Недурна, очень недурна! - повторил и магнат, - соблазнительное личико!
- Ха, ха, ха, это мило! Вы долго пробудете здесь?
- Надеюсь.
- Мы, кажется, не отыщем директора, а мне надо ехать... Очень рад с вами познакомиться.
- Позвольте прежде рекомендовать себя, - отвечал Волобуж, вынув визитную карточку и отдавая барину.
- Ах! - произнес сеньор приветливо, взглянув на карточку, - я надеюсь, что вы не откажетесь меня посетить... Позвольте узнать, где вы остановились?
- В гостинице «Лондон».
- Я буду лично у вас.
- Приезжий предупредит эту честь.
Барин ласково пожал венгерскому магнату руку, сказал свой адрес и раскланялся.
- Ты знаешь, где живет этот господин?
- Знаю, знаю, — отвечал Андре.
- Так мне не для чего здесь больше толкаться. *Seigneur Baranovsky*, как называл Андре русского барина, с которым случай свел нашего путешественника, магната Волобужа, был человек в самом деле с наружностью сеньориальной: высок ростом, плотен, держал себя прямо, глядел свысока, речь министерская, словом, важен, важен, очень важен. Но он был не из вельмож, происходивших от тех мужей, которым Рюрик раздавал волости, овому Полтеск, овому Ростов, овому Бело-озеро; не происходил он также от великих мужей, которые Хранились и бились за места в разрядах; ни от какого-нибудь мурзы татарского. Но во всяком случае он был богат, как Лукулл, который прославился роскошью одежд, мебели и стола. Римский Лукулл был умен и учен, съел собаку в познаниях, образовался у известнейших док красноречия и философии, имел огромную библиотеку, которою пользовался Цицерон, пивши еще мальчиком. А русский Лукулл, хоть и любил собак, но не съел ни одной по части отягощающей голову, а не желудок. Что ж касается до отделки дома *a la renaissance* и до повара, то, в сущности, о нем, как о мертвом, нельзя было ничего сказать, кроме *aut bene, aut nihil*. Такая угода чувствам во всех мелочах, что все чувства, кроме слуха, утопали в сладострастии созерцания, обоняния, осязания и вкуса. Слух же должен был довольствоваться басом хозяина и дискантом хозяйки. Была некогда и библиотека в доме, доставшаяся по наследию; до самого времени возрождения вкусов она занимала целую комнату; потому что в прошедшем столетии и даже в начале настоящего была и в России мода на библиотеки, и невозможно было не иметь коллекции французских писателей. Но со времени возрождения вкуса вельможный барин променял библиотеку, богатую роскошными изданиями и переплетами, на пару античных ваз и на сервиз саксонский; изгнал весь наследственный хлам и устроил дом как чудный косметический магазин, соединенный с мебельным и с великолепными залами богатейшей европейской реставрации, отапливаемой паром, освещаемой газом. После полного устройства и приведения в порядок всего, кроме счетов, он дал обед на славу, потом бал на славу. И прославился. Заговорили, заахали о доме, об обеде, о бале. А о хозяине преравнодушно сказали: - Дурак! Что он, удивить, что ли, хочет всех своими обедами и балами!
Но этим толки не кончились; тотчас же привели в известность доходы и расходы, поверили счета, допытались, что взято и сделано в долг, что на чистые деньги, что на слово, что по подрядам, кому уплачено, кому нет.
Про супругу сеньора *Baranovsky*, как его называл Андре, ничего нельзя было сказать худого. Она была женщина добрая; понимала, что в важности и делах ее мужа было что-то глупое, смешное и бестолковое; но ей было трудно *против рожна прати*, а еще труднее предостеречь себя от тщеславия быть окруженной блеском и великолепием: все это было так хорошо, так ей к лицу. Будь муж ее управителем и стой почтительно в дверях в ожидании приказаний, салон *madame Baranovsky*, был бы второй салон мадам Рекамье, которою она бредила. Если муж ее жил пышно и давал обеды из славолубия, то она давала балы чисто из великодушия и желания

одолжить и потешить бедную Москву, а вместе с тем и подать всем пример гостеприимства, образованного тона и любезности хозяйки.

Приготовляясь к своему балу, она была счастлива, счастлива как мать, которая радуется, что может потешить детей: «пусть их попрыгают и порезвятся от души». Но дети что-то не резвились, как будто под строгим присмотром чинности; тут как-то не было простору ни душе, ни телу: все что-то неловко; казалось, что все съехались из одного светского приличия и необходимости непременно быть на великолепном бале, на выставке модных одежд и тонов, на маневрах высшего круга и для того, чтоб после, если кто спросит: «Были на бале у мадам Вагановску?» - отвечать равнодушно: «Как же». Лица хозяина и хозяйки так же ярко были освещены внутренним довольствием, как и весь дом солнечными и лунными лампами: они как будто всматривались во всех и каждого, удивляются ли великолепию зал, роскоши убранств, блеску освещения и *непроеходимости* от бесчисленного множества приглашенных? В самом деле, какая-то благочинная тоска проникала всех, кроме нескольких лощеных танцоров и перетянутых стрекозами Терпсихор, которые перед каждым балом пляшут от радости: «Ах, бал, бал!»

С таким-то московским боярином свел случай магната венгерского. На другой же день он явился в дом и был представлен хозяйке. У себя в номере, в халате или венгерке, заметна была в магнате какая-то странность, необразованность приемов, что-то оригинально-грубое; но также видно было, что от самой колыбели он не был ни робок, ни стыдлив, застрахован от всякого смущения и поражения чувств великолепием, блеском обстановки, величием. Как хамелеон, он внезапно отражал па себе все краски и свободно становился в уровень, на одну лоску, с кем угодно. Поднимаясь на ступени лестницы, обращенной в благовонную аллею антиподных растений и цветов, он как будто вдруг напитался ими и явился в гостиную таким благообразным светским человеком, что сеньора была вне себя от удовольствия быть первой, которой представляется венгерский магнат. Она сама взялась познакомить его с лучшим обществом Москвы, предупредив, что дом ее есть центр образованной и просвещенной сферы и что она - солнце, которое согревает всю Москву разными родами *parties de plaisirs*.

- Вы, без сомнения, были уже в Париже? - спросила она, зажмурясь немножко и нежно склонив голову на сторону.

- О, конечно, несколько раз, - отвечал Волобуж, - *chavez-vous*, быть в Европе и не видеть Парижа, все равно, что быть Париже и не видеть Европы, потому что существенно Европа и заключается только в Париже: все прочее - продолжение Азии.

- Ах, это так; там центр образованности. Кто наследовал теперь славу гостиной мадам Рекамье?

- Никто, никто, решительно никто. Да и возможно ли, скажите сами? Мадам Рекамье! Вы знаете, что это за женщина?

- Ах, да, это справедливо; конечно, женщину такой любезности, такого образования трудно заменить. Так сблизить, соединить в своем салоне все чем-нибудь замечательное, все известности... это, это не так легко. Здесь не Париж; но вы не поверите, какое надо иметь искусство, чтоб быть амальгамой общества...

Сеньора с таким выражением утомления произнесла слова: *вы не поверите*, что невозможно было не поверить.

- О, верю, совершенно верю, - сказал магнат, - *chavez-vous*, я что взглянул на Москву, тотчас же понял, что это не Париж.

- Справедливое и тонкое замечание! - отозвался, наконец, сам хозяин. - Никакого сходства! Это удивительно! У нас так мало еще людей в кругу даже *нашем*, которые бы понимали истинное просвещение, что... Но вы сами увидите у меня в доме все, что первенствует, даже не в одной Москве, но, можно сказать, в целой России. Потому что *tout ce qui excelle* не минует моего порога.

Только что вельможный барин кончил речь, как вошедший слуга доложил, что опять пришел подрядчик, да и каретник пришел.

- Ты видишь, что я занят, глупец. Что ж ты мне докладываешь о пустяках.

- Подрядчик просит ответа-с на письмо своего барина.

- Скажи, чтоб завтра пришел за ответом; а каретник пусть придет послезавтра.

После отданного таким образом приказания людям барин продолжал велеречиво суждение свое о том, что Москва несколько не похожа на Париж и что это проистекает именно оттого, что русские не умеют жить. Присовокупил к тому очень дельное замечание, что Петру Великому следовало ранее заняться преобразованием России и что, если б он занялся этим заблаговременно, то просвещение и устроенное им регулярное войско предохранили бы Россию от нашествия монголов.

- Скажите! - воскликнул Волобуж, - всеобъемлющий гений сделал такое упущение, и этого никто до сих пор не заметил?

- Никто, решительно никто!

- Это удивительно! Какая была бы разница! *Chavez-vous*, вот что хочется мне знать: приезжал ли пустынник Петр проповедовать в Россию крестовые походы?

- Пустынник Петр? - повторил хозяин, припоминая.

- Кажется был, *mon cher*, - сказала хозяйка.

- Да! Точно! Именно был! Позвольте, в котором это году?

- Не трудитесь, пожалуйста, припоминать: хронология в этом случае пустяки. Мне желательно только знать, отчего Россия не согласилась участвовать в крестовых походах?

- Отчего! - воскликнул барин, - просто невежество, непросвещение и только. Участвуй Россия - о, дела бы взяли другой оборот! Милльон войска - не шутка.

- Dieu, dieu! - проговорил магнат, глубоко вздохнув и уставив глаза на русского сеньора, - сколько в мире странных людей и событий!

- Ах, - сказала хозяйка, наскучив разговором об исторических событиях России, - посмотрите на мою Леди... elle a de l'esprit. Посмотрите, какие умные глаза!

- Чудные глаза! - сказал Волобуж, глядя Леди, и подумал: «На первый раз довольно!»

И он встал, раскланялся. С него взяли слово приехать на другой же день, на вечер.

- Да это просто злодей! - сказал Волобуж, сбежав с благовонной лестницы к подъезду.

- Что, сударь, верно, и тебе денег не платит? - спросил один из стоявших у подъезда двух человек.

«А, это, верно, подрядчик и каретник, - подумал магнат, взглянув на две бороды в синих кафтанах, - да, да, не платит!»

- Из магазина, верно, взял что?

- Нет, просто за визит не платит: делай визит ему даром, каков?

- Ты говори! Все норовит на даровщинку. А еще такой барин и богач, прости, Господи! Занял у меня без малого тысячу...

- Скажи, пожалуйста, каков! - сказал Волобуж, садясь в коляску.

- Куда прикажете? - спросил кучер.

- Куда? Вот об этом мне надо кого-нибудь спросить...

- Домой прикажете?

- Ну, домой! Что ж делать дома? Дома люди обманывают самих себя, вне дома - обманывают других. Что лучше? Фу, какой умница этот вельможа! В самом деле, если бы Петр Великий начал преобразование России со времен Рюрика, то Россия с ее рвением к просвещению ушла бы далеко на запад, дальше солнца, если бы не проклятые столбы. Да! Кстати о просвещении. Ступай на Кузнецкий мост, во французский книжный магазин! Надо принять к сведению современный интерес, надо стать в уровень с мосье Varanovsky.

Приехав на знаменитый мост, магнат вбежал в книжный магазин и спросил современных книг.

- Каких угодно?

- Все равно, каких-нибудь; я ведь не люблю читать и размышлять, что хорошо или худо: и то и другое зависит от моего собственного расположения духа... Лучшие сочинения теперь, я думаю, романы; в них жизнь, и настоящая наука, и философия, и политика, и индустрия, и всё.

- Не угодно ли выбрать по каталогу.

- Да я приехал к вам, мой милый, не для того, чтоб терять время на выбор. Вы француз?

- Француз.

- Ну и прекрасно; давайте мне что хотите: все хорошо; мое дело платить деньги - чем больше, тем лучше.

Француз улыбнулся и собрал несколько романов.

- Не угодно ли вам эти?

- Очень угодно.

- Вот еще новое, очень занимательное сочинение.

- Роман? Давайте, давайте! Не мало ли? Ведь я не читаю, а пожираю.

Набрав десятка два романов, Волобуж отправился домой и целый день провел в чтении. Но он читал, не разрезывая листов, не с начала, не от доски до доски, а так, то тот, то другой роман наудачу, как гадают на святках: *что вынется, то сбудется*. Это, говорил он, глупость, читать подряд; все равно, с краю или из середины. Главное, благоразумному человеку, посещающему свет, желающему говорить и рассуждать, нужны на ежедневный обиход карманные сведения, как карманные деньги. Почерпнув из книг или из журналов несколько блестящих, только что оттиснутых сведений, можно ехать с визитом, на обед, на бал, - куда угодно...

Когда Волобуж на другой день явился в гостиную русской Рекамье, для него уже было подготовлено знакомство, как для особенно интересного, высокообразованного путешественника и сверх того магната венгерского.

Каждый человек до тех пор ребенок, покуда не насмотрится на все в мире настолько, чтобы понять, что все в мире то же что ein-zwei-drei, ander Stuck Manier, и следовательно почти каждый остается навек ребенком.

Это правило можно было приложить и ко всем тем, которые наполняли гостиную супруги вельможного барина. Любопытство видеть интересного путешественника так раздражило нервы некоторых дам, что при каждом звуке колокольчике которым швейцар давал знать о приезде гостей, пробежал по и жилкам испуг, головка невольно повертывалась к дверям, уст) как будто зубками перекусывали нить разговора, и некоторые становились похожи на известное беленькое животное, которое прослышав какой-нибудь звук, осторожно поднимает свои длинные ушки и прислушивается: что там за чудо такое?

Волобуж вошел и с первого взгляда поразил все общество - так взгляд его был смел и беспощаден, движения новы, а выражение наружности необычайно. Хозяин побежал к нему на

встречу. Он взял хозяина за обе руки, как старого знакомого. Хозяйка встала поклониться ему. Он без поклона сел подле нее и тотчас же начал по-французски, несколько английским своим наречием, разговор о Москве.

- *Chavez-vous*, мне Москва так понравилась с первого взгляда, что я намерен остаться в Москве, покуда меня не выгонят. - Произнося эти слова мерно и громко, магнат обводил взорами всех присутствующих в гостиной.

Хозяйка, по праву на свободную любезность с гостем, премило возразила на его слова:

- Так вам не удастся возвратиться в свое отечество!

- О, я чувствую, что даже не приду в себя, - отвечал магнат.

- Сколько приятного ума в этом человеке, - сказала вполголоса одна молоденькая дама натуральному философу, но так, что магнат не пропустил мимо ушей этих слов, а мимо глаз того взора, который говорит: «Ты слышал?»

«А, это, кажется, та самая, которой восхищался мой собеседник в театре», - подумал Волобуж, устремив на нее взор, высказывающий ответ: «Я не глух и не слеп».

- Я вам доставлю одно из возвышенных удовольствий, - сказала хозяйка после многих любезностей, - вы, верно, любите пение? Милая Адель, спойте нам.

Одна из девушек села за рояль и потрясла голосом свои стены. Это уж так следовало по современной сценической методе пения. Теперь те из существ прекрасного пола, которые одарены от природы просто очаровательным женским голосом, не могут и не должны петь. Сентиментальности, *piacere* и *dolce* - избави Бог! Теперь в моде мускулезные арии, *con furore* и *con tremore*, с потрясением рояля от полноты аккордов, а воздуха от полноты выражения чувств.

- Каков голос! - оказал хозяин, подходя к магнату.

- Необыкновенный голос! - отвечал он, - это такой голос, каких мало бывает, да еще и редко в дополнение. Вот именно, голос! Это Гера в образе Стентора возбуждает аргивян к бою!

- Удивительный голос! Вы не сыграете ли в преферанс?

- С величайшим удовольствием: неужели здесь эта игра в моде? В Европе не играют уже в преферанс.

- Неужели? Какая же там игра теперь в моде?

- Коммерческие игры перешли в коммерческий класс людей, там теперь преимуществовует фараон.

- В самом деле? У нас не играют в азартные игры.

- И прекрасно. Я сам предпочитаю искусство случайности.

- Вы играете по большой или по маленькой?

- И по большой и по маленькой вместе: когда я выигрываю, мне всегда кажется, что десять червонцев пуан игра слишком мала.

- О, у вас, в Венгрии, верно, слишком дешево золото!

- Где его меньше, там оно всегда дешевле, - отвечал Волобуж, собирая карты и говоря вперед: - играю.

Хозяйка и вообще дамы надулись несколько, что у них отняли занимательного кавалера, и не знали, чем пополнить этот недостаток, на который рассчитан был весь интерес вечера. Не игравшие, собственные, ежедневные кавалеры как-то вдруг стали пошлы при новом лице, как маленькие герои перед большим, который, как Кесарь, *venit, vidit, vicit* внимание всех дам. Они ходили около ломберного стола, за которым он сидел, становились по очереди за его стулом, прислушивались к его словам и возбуждали досаду и даже ревность в некоторых присутствовавших тут своих спутниках.

Венгерский магнат не привык, казалось, оковывать себя светскими бандажами. Он нетерпеливо ворочался на стуле, как будто заболели у него плеча, руки, ноги, заломило кости, разломило голову. Дамы надоели ему своими привязками в промежутках сдачи карт, хозяин и два барина, которые играли с ним, надоедали ему то мертвым молчанием и думами, с чего ходить, то удивлением, какая необыкновенная пришла игра, то время от времени рассуждениями о том, что говорит «журнал прений» и что говорят в английском клубе.

Хозяин играл глубокомысленно: по целу его видно было, как он соображал, обдумывал ходы; но ходил всегда по общему правилу игры. Отступить на шаг от правил он не решался: приятно ли, чтоб подумали, что он не знает самых обыкновенных, простых правил игры. Какой-то сухопарый, грудь которого была «рамплирована» декорациями, все хмурился на карты, спрашивал поминутно зельцерской воды и несколько раз жаловался на обеды в английском клубе.

- Я всегда на другой день чувствую себя не по себе, - говорил он, не обращая ни к кому своих слов, как признак сознания собственного достоинства.

- А какая уха была, князь, - заметил хозяин, ударяя всю силою голоса на слово уха. - Какая уха была!

- О-о-о! Надо отдать справедливость, - прибавил тучный барин, сидевший направо от Волобужа. - Уха недаром «нам» стоила две тысячи пятьсот рублей!

- Как же, весь город говорил о ней! - сказал один молодой человек с усиками, в очках.

- Весь не весь, а все те, которые ели ее, - отвечал, нахмутив брови, тучный барин.

- Такому событию надо составить протокол и внести в летописи клуба, - заметил снова молодой человек с колкостью, отходя от стола.

- А вот найдем протоколиста, - сказал тучный барин, - какого-нибудь восторженного поэта, - прибавил он вполголоса.
- Bravo, Иван Иванович, - сказал, захохотав, хозяин, - это не в бровь, а прямо в глаз.
- Нет, вы не жалуйтесь, князь, на стол в клубе. Для такого стола можно раз или два раза в неделю испортить желудок, - продолжал Иван Иванович прерванную речь свою.
- Ваш, однако же, нисколько, кажется, не портится, - сказал князь.
- Напротив, случается; но у меня есть прекрасные пилюли, и я, только лишь почувствую «несварение», тотчас же принимаю, и оно... очень хорошо действует.
- Завтра я непременно обедаю в клубе, - сказал хозяин.
- И прекрасно! Знаете ли что: вот, как мы теперь сидим, так бы и завтра повторить партию. Как вы думаете, князь?
- Я согласен.
- А вы? Вы не откажетесь завтра обедать с нами в клубе? - спросил Иван Иванович, обращаясь к Волобужу.
- С удовольствием, - отвечал Волобуж, - я так много и часто слышал и за границей об английском московском клубе, что меня влечет туда любопытство.
- О, вы увидите, - сказал хозяин, - это удивительное заведение.
- Академия в своем роде! - прибавил молодой человек в очках, проходя мимо и вслушиваясь в разговор.
- Это несносно! - проговорил тихо хозяин, уплачивая проигрыш.
- Охота вам приглашать этого молокососа, - заметил так же тихо Иван Иванович.
- Хм, жена, - отвечал с неудовольствием хозяин, вставая с места.
- Разлад полов и поколений, - сказал тихо и Волобуж, обращаясь к молоденькой даме, которая польстила его самолюбию.
- Отчего же разлад?
- Разлад, а говоря ученым языком, разложение организма.
- Докажите мне, пойдёмте по комнатам, вы насиделись.
- Пойдёмте.
- Как прекрасно отделан дом, не правда ли?
- Для моего воображения недостаточно хорош.
- Для вашего воображения, может быть, все недостаточно хорошо, что вы ни встречаете?
- О, есть исключение: встретив совершенство, я покоряюсь, влюбляюсь в него без памяти.
- А часто вы встречали совершенства?
- Встречали! Вы не вслушались, я говорю про настоящую минуту. Сядемте, вы находились, - сказал Волобуж, проходя с собеседницей уединенную комнату.
- Они сели; но ревнивая хозяйка не дала развиваться их разговору и увлекла в залу слушать, как один monsieur передразнивал Листа. Когда он кончил, венгерского магната уже не было в зале. Начались общие суждения и заключения об его оригинальности, уме, проницательных взглядах; дамы восхищались им; и одни только ревнивцы, вопреки наклонности своей к иноземному уму, понятиям, формам, условному изяществу, стали про себя корить соотечественниц своих, что они готовы обоготворить всякого беглеца с галер и позволить ему сморкаться в свои пелеринки.
- На другой день Волобуж был у Ивана Ивановича с визитом и вместе с ним отправился в клуб. Около интересного путешественника, венгерского магната, тотчас же составилась кружок. У нас необыкновенно как идет большая рыба на каждого порядочного иностранца. Он ловко справлялся с толпой, жаждущей послушаться его речей, бросал запросы, как куски на драку, ставил всех на спор о современном состоянии Европы.
- Я еще не знаю России, - сказал он, - знаю Европу, но совершенно не понимаю её!
- Удивляюсь! Европу не так трудно понять в настоящее время. Выслушайте! - прервал тотчас же один говорливый господин и принялся было объяснять значение Европы; но его в свою очередь прервал другой.
- Помилуйте, обратите только внимание...
- Позвольте, я на все обращаю внимание, примите только в соображение финансы и богатство Англии.
- Финансы Англии! Но вы посмотрите на Ирландию.
- На Ирландию? Это пустяки! На нее не должно смотреть, она в стороне.
- В стороне! И очень в стороне от благосостояния.
- Нисколько! Если б не О'Коннель, мы бы ничего и не слышали об Ирландии.
- Даже и голоду бы там не было.
- Без всякого сомнения! Ха, ха, ха, ха!
- Chavez-vous, - сказал Волобуж, которому надоела эта возня рассуждений о политике. Все обратили на него внимание.
- Chavez-vous, я думаю, что дела сами собою показывают, на что должно обратить внимание: главное, земледелие.
- Так. Но теперь главный факт - то, что земледелие в Европе в ужасном упадке. Разберем...
- Эту тему отложите, - оказал случившийся тут агроном, - я был в Европе и обращал на этот предмет внимание, исследовал все на месте.

- И видели возделанные оазисы посреди пустыни.
- Но какие оазисы!
- Ах ты, Господи! Да что за штука золото обратить в золотые колосья!..

Это восхищение возбудило общий смех. Но спор продолжался бы бесконечно, если бы не раздалось: «кушать подано!» Мысли самых горячих спорщиков внезапно вынырнули из бездонной глубины и все, как будто по слову: «марш!» двинулись в столовую.

Иван Иванович угощал московского гостя как будто у себя дома и возбуждал в нем аппетит своим собственным примером. Магнат дивился и на Ивана Ивановича и на многих ему подобных, как на адовы уста, которые так же глотают жадно души...

- Русский стол похож, - сказал он, - на французский.

- О, несколько: это французский стол, - сказал Иван Иванович. Иногда, для разнообразия, у нас бывают русские щи, ватрушки и особенно уха.

- Ах, да, *chavez-vous*, мне еще в Вене сказали, что в России свой собственный вкус не в употреблении. Впрочем, в самом деле: *stchstchi! vatrouschky! oukha! diable!* Это невозможно ни прожевать, ни проглотить.

Гастрономическая острота возбудила снова общий смех и суждения о вкусах.

После обеда условленная партия преферанса уселась за стол в *infernale*, но Иван Иванович предупредил, что в десять часов он должен ехать на свадьбу к Туруцкому.

- Сходят же с ума люди! Жениться в эти года... и на ком! - сказал князь.

- Это удивительно! - прибавил *seigneur*, - неужели в самом деле Туруцкий женится на французенке, которая содержалась в тюрьме и которую взяли на поруки?

- Женится, - отвечал Иван Иванович, - но как хороша эта мадам де Мильвуа!

- Взята на поруки? Выходит замуж, французенка? Мадам де Мильвуа? - спросил с удивлением Волобуж.

- А что? Неужели вы ее знаете?

- Статная женщина, не дурна собою, вместо улыбки какое-то вечное презрение ко всему окружающему.

- Именно так! Мне в ней только это и не понравилось. Так вы знаете ее? Да где же?

- *Chavez-vous*, это моя страсть, я потерял ее из виду и опять нахожу... Выходит замуж, говорите вы?

- За одного богача.

- Браво!

- Где ж вы с ней встречались?

- Разумеется, в Париже.

- О, так ей приятно будет встретить вас здесь! И для Туруцкого, верно, будет это маленьким несчастьем. Я скажу ей...

- Напрасно; она меня не знает. Впрочем, я бы очень рад был возобновить маскарадное знакомство; я у нее непременно буду. Где она живет?

Иван Иванович рассказал адрес дома Туруцкого и звал Волобужа ехать вместе с ним смотреть русский обряд венчания.

- Вместе не могу ехать, - отвечал он, - мне еще надо побывать дома; я приеду.

Партия преферанса скоро кончилась, князь вызывал на другую.

Иван Иванович соглашался, но Волобуж отказался решительно.

- В другое время хоть сто; я охотник играть в карты.

- Так завтра ко мне, - сказал князь, - мне желательно хоть сколько-нибудь воспользоваться пребыванием вашим в Москве, тем более что вы, верно, долго у нас и не пробудете.

- Право, сам не знаю; это зависит от обстоятельств: от собственного каприза или от каприза судьбы. У такого человека, как я, только эти два двигателя и есть.

Распростившись с своими партнерами, Волобуж вышел из клуба, сел в коляску и велел ехать по сказанному адресу в дом Туруцкого.

- Так вот она где! Мадам де Мильвуа! Скажите, пожалуйста! - разговаривал он вслух сам с собою. - К ней, сейчас же к ней! Посмотрим, узнает ли она меня? Выходит замуж... Это пустяки. Я ей не позволю выходить замуж! Это мечта. Несбыточное дело.

- Вот дом Туруцкого, - сказал наемный слуга, сидевший на козлах и облаченный в ливрею с галунами, на которых изображен был так называемый в рядах *общий дворянский герб*.

- На двор! К подъезду! - скомандовал магнат, и когда коляска подъехала к крыльцу, он выскочил из нее, не останавливаясь и не спрашивая у швейцара, дома ли господин, госпожа или господа, вбежал на лестницу. Не оглядываясь ни на кого из дежурных слуг, вскочивших с мест, прошел переднюю, как доктор, за которым посылали нарочно, которого ждут нетерпеливо, который торопится к опасно больному и который знает сам дорогу в самые отдаленные и заветные для гостей покои дома.

В зале, однако ж, встретив лакея, он крикнул:

- Мадам тут?

- Сюда, сюда пожалуйста-с.

Своротив направо, Волобуж вошел в дамский кабинет, остановился, осмотрелся.

- Теперь куда? Прямо или влево? Здесь слышатся голоса...

Волобуж подошел к двери, хотел взять за ручку, но дверь вдруг отворилась и из нее вышел с картонкой в руках и с завитым хохлом что-то вроде французского петиметра.

- Мадам тут? - спросил Волобуж.

- Monsieur, она одевается.

- Хорошо! - и, пропустив парикмахера, он вошел в уборную, где сидела перед трюмо дама в пенюаре и, казалось, любовалась роскошной уборкой головы.

- Кто тут? - проговорила она по-французски, не оглядываясь. - Я сказала, чтоб никто не смел входить, покуда я не позову!

- Madame, я не слышал этого приказа, прошу извинения, - сказал Волобуж, преклонив почтительно голову.

- Кто вы, сударь?

- Madame de Milvoie, венгерский дворянин Волобуж осмеливается представиться вам...

- Что вам угодно? Это странно, входить без спросу!

- Простите меня, я хотел только удостовериться, действительно ли вы та особа, которой я был некогда не противен... О, похожа, очень похожа!

- О боже! - вскричала дама, всмотревшись в лицо магната.

- О боже! Она, она! - вскричал и Волобуж, приняв сценическую позу удивления, - это ты, ты!

Дама затрепетала, дух ее занялся, бледность выступила на лице ее сквозь румяны; она походила на приподнявшегося из гроба мертвеца в венке и саване. Она хотела, казалось, кликнуть людей, взялась за колокольчик, но дрожащие губы не могли издать звука, поднимавшаяся рука опала.

- Не тревожьтесь, не беспокойтесь, - сказал Волобуж, - прикажете кликнуть кого-нибудь?

- Злодей! - проговорила она, задыхаясь.

- Так я запру двери.

И он повернул ключ в дверях.

- Чего ты хочешь от меня?...

- Успокойтесь, пожалуйста, я ничего не хочу от вас, - отвечал Волобуж, садясь на кресло, - ни вещественного, ни духовного блага. Я только приехал поздравить вас с счастливым обеспечением судьбы вашей и убедиться в ложном слухе, что будто вы выходите замуж. Я не поверил...

- Мерзавец! Поди вон отсюда! Оставь меня.

И она в исступлении вскочила и, казалось, хотела боксировать.

- Знаете ли что, - продолжал спокойно Волобуж:

On vit un jour une cruelle guerre, / Entre la poule et le coq, / Pendant le choc, / La poule en colere

Драгоценные серьги, цветы, локоны, вся уборка головы прекрасной дамы трепетали, как от порывистого ветра листья на дереве; она без сил упала на кресла, закрыла глаза, закинула голову на спинку и, казалось, замерла, как убитая тигрица, стиснув зубы от ярости.

Волобуж продолжал равнодушно нараспев:

Mais un silence heureux finit la paix ...

- О Боже мой, я бессильна, я не могу избавиться от этого человека! - проговорила, как будто внезапно очнувшись, дама, - оставьте, сударь, меня!

- Из чего, к чему горячиться? как будто нельзя сказать по-человечески всё то, что нужно? Все эти исступления доказывают только, что вы нездоровы, расстроены душевно и телесно. Ну, где ж вам выходить замуж, моя милая мадам де Мильвуа? Пустяки! Я вам просто не позволяю: и не извольте думать, выкиньте из головы эти причуды! Одного мужа вы пустили по миру, другого хотите просто уморить, - нельзя, моя милая мадам де Мильвуа, невозможно!

- Милостивый государь! - сказала вдруг решительным голосом дама, - я вас не знаю, что вам угодно от меня? Кто вас звал? - И она бросилась к дверям, отперла их, крикнула: - Julie! Позови людей! - И потом начала звонить в колокольчик.

- Все это пустяки вы делаете, - сказал равнодушно Волобуж, развалившись на креслах.

- Что прикажете? - спросила вбежавшая девушка.

- Позови... - начала было дама.

- Позвольте, не беспокойтесь, я сам прикажу, - прервал ее Волобуж, вскочив с места, - сидите! Я сам прикажу: поскорей воды, милая: барыне дурно! Постой, постой, возьми рецепт.

И он побежал к столику, схватил листок бумаги, черкнул несколько слов и отдал девушке.

- Скорей в аптеку! бегом!

Девушка убежала. Дама, как помешанная, опустилась на диван, водила пылающими взорами. Грудь ее волновалась, как в бурю.

- Ничего, - сказал Волобуж, смотря на нее, - это пройдет. Пожалуйста, примите, что я вам прописал. Adieu, madame! Я тороплюсь посмотреть на жениха. Говорят, старикашка. Пожалуйста, поберегитесь *выходить*. Я вам говорю не шутя! Поберегитесь выходить замуж! На воздух же можете выходить когда угодно. Слышите? Adieu.

Волобуж кивнул головой и вышел.

- Ступай в здешний приход! - крикнул он кучеру.
 Простой народ толпился уже около церкви; но простого народа не впускали.

- Уж чего, гляди, и на свадьбу-то посмотреть не пускают! - ворчала одна старуха на паперти,
 - поди-ко-с, невидаль какая! Вели, батюшка, пустить, посмотреть на свадьбу, - крикнула она, ухватив Волобужу за руку.

- Кто не пускает?
 - Да вот какие-то часовые взялись!
 - Что за пустяки! Впустить! - крикнул Волобуж, входя в церковь. Там было уже довольно любопытных, в числе которых не малое число старцев, сверстников и сочленов Туруцкого. Все они как-то радостно улыбались; внутреннее довольство и сочувствие доброму примеру, что ни старость, ни дряхлость не мешают жениться, невольно высказывались у них на лице.

- Я думаю, еще ему нет семидесяти, - говорил один из сверстников.
 - О, помилуйте! Все восемьдесят! Вы сколько себе считаете?
 - Мне еще и семидесяти пяти нет.
 - Неужели? Вы моложавы.
 - Посмотрим на Туруцкого, как-то он вывезет! На француженке... Она уж у него давно!
 - Ну, в таком случае понятно, для чего он женится. Ah, monsieur de Volobouge! Вам также любопытно видеть свадьбу? Свадьба замечательная; эта чета хоть кого удивит: жениху за семьдесят лет.

- Что ж такое, - отвечал Волобуж, - *chavez-vous*, лета ничего не значат; кому определено прожить, например, сто лет, тот в семьдесят только что возмужал; а кому тридцать, того в двадцать пять должно считать старше семидесятилетнего.

- А что вы думаете, это совершенная правда.
 - Сейчас едет барин, - сказал торопливо вошедший человек в ливрее старосте церковному, - свечи-то готовы?

- Что, брат, слово-то мое сбылось: пансионерок-то заводят для того, чтоб жениться на них.
 - Уж ты говори! - отвечал староста, - греха-то теперь на свете и не оберешься!
 - Чу, еду! - Все оборотились к дверям.

Вслед за Иваном Ивановичем и толпою других *провожатых* вошел жених, Платон Васильевич Туруцкий, поддерживаемый человеком.

- Вот, вот он, вот! - раздался общий шепот.
 - Э-э-э, какой сморчок! Да где ж ему... Ах ты, Господи!
 - Ну, роскошь! - сказал сам себе наш магнат.

Платон Васильевич, бодрясь, на сколько хватило сил, подошел к налою, перекрестился, посмотрел вокруг, поклонился и спросил Ивана Ивановича:

- Поехали ли за невестой?
 - Как же, как же! Ah, monsieur de Volobouge... Посмотрите-ко, каков?
 - А вот увидите, невесту, также молодец, *bel homme*.
 - Скоро будет?
 - А вот сейчас.

Насмотревшись на жениха, все снова устремили глаза ко входу в храм, в ожидании невесты. Чуть приотворится дверь...

- Вот, вот, верно она... - Общий шепот затихнет.
 - Нет, не она!

Долго длилось напрасное ожидание. Наконец, вошел запыхавшись Борис, и прямо к барину, сказал что-то ему на ухо. Но Платон Васильевич, верно, не расслышал.

- А! Едет? - проговорил он и побежал к дверям.
 - Едет, едет! - повторилось посреди затишья. Снова все устремили глаза на двери.
 Иван Иванович, разговаривавший с магнатом, побежал к дверям.
 - Где же? Экой какой! Сам побежал высаживать из кареты! Что же, где Платон Васильевич?
 - Да они поехали домой, сударь, - сказал бегущий лакей: - что-то случилось такое; невеста, говорят, заболела...
 - Что-о? Вот чудеса! - сказал Иван Иванович. - Слышите, господа: невеста заболела! Да это, верно, просто дурнота... Невеста заболела! - повторил Иван Иванович, обращаясь к Волобужу, - я поеду, узнаю.
 - Ну, какую наделал я суматоху! - сказал Волобуж, проталкивая народ, который стеснился в дверях с нерешимостью, ждать или выходить из церкви.

(Продолжение следует)

Александр Фомич Вельтман.



*Три периода в жизни женщины.
 В первом она действует на нервы своему отцу, во втором - мужу,
 а в третьем - зятю. Шарль Монтескье.*

ЧЁРНАЯ ЖЕНЩИНА

Николай Греч
С.-Петербург, 1796

Начало в № 74

Роман.

Книга первая

XV



Сметливый секретарь видел, что пылкий, чувствительный и в то же время слабый характером Кемский легко может сделаться добычею первой женщины, которой бы вздумалось приобрести его любовь или только показаться к нему неравнодушною и задеть его слабую сторону. Многие девицы посматривали на него с участием и нежностью; матушки обходились с ним предупредительно и учтиво. Тряпицын сообщил эти опасения своим благодетелям и доказал им, что князь, женись без их воли на дочери какого-нибудь неблагонамеренного человека, может забыть, чем обязан своим родственникам, может переменить свои намерения в рассуждении детей Алевтины. Следственно, если уже должно ему жениться, пусть он женится на особе, которая совершенно зависела бы от его семейства. План был одобрен в фамильном совете; надлежало привести его в исполнение.

Алевтина вспомнила об одной своей дальней родственнице по матери, круглой сироте, не имевшей никакой надежды в свете, ни даже приюта, и проживавшей в Москве попеременно у разных родственников. Ее выписали. Явилась недурная собою высокая, худошавая, чахотная фигура лет двадцати пяти, из которых по скромности убавляла двадцать процентов.

Татьяна Петровна была довольно хорошо воспитана, говорила по-французски, танцевала и т.д. Наслышась о властолюбивом нраве Алевтины, она предстала пред нею, как пред грозною судьбою, со страхом и трепетом, но прием ласковый, нежный и предупредительный рассеял ее опасения. Алевтина объявила ей, что намерена исполнить давнишнее свое желание, пристроить любезную родственницу в своем доме и, если сыщется жених, выдать ее замуж, как родную дочь. Старушка Прасковья Андреевна оросила ее слезами родственной любви и нежного участия к судьбе несчастной сироты. Ей отвели хорошенькую комнатку в доме, приставили к ней служанку, обновили ее гардероб. Татьяна пришла сперва в изумление от таких неожиданных и незаслуженных милостей со стороны людей, которые без расчета никому в свете добра не делали, и вскоре догадалась, что ее ласкают неспроста. Недаром была она однофамилицею Алевтины: женская хитрость, упражнявшаяся всю жизнь в изыскании средств к угождению зажиточным родственникам, нашла себе теперь достаточную пищу. Татьяна решила повиноваться, молчать и наблюдать; без труда заметила она старания Алевтины сблизить ее с князем, не догадывалась о действительной причине этих замыслов, но с восторгом предалась мысли быть княгинею и богатою и вознамерилась употребить все средства к достижению этой цели.

А что делал между тем Кемский? Беззаботность его была непродолжительна. Попривыкнув к новой службе, не находя прежних споров и неудовольствий в доме сестры своей, он опять начал призадумываться. В нем действительно были две жизни: одна существенная, так сказать, практическая, в которой он занимался вседневными делами, службою, обхождением с людьми, к которым был равнодушен, и, когда эти дела наполняли все его минуты, когда они его беспокоили, тревожили, он был доволен, не требовал и не искал ничего иного; но лишь только случался в этих обыкновенных занятиях какой-либо промежуток, наполненный у иных людей скукою, - в Кемском возникала другая жизнь, возвышенная, не земная, мечтательная; он занимался и прежними делами, но в том участвовали только физические его силы и низшие способности души, а ум, воображение, рассудок, чувство носились в мире духовном. В это время одной малой искры достаточно было для воспламенения всей души его. Знакомые и родственники считали его нездоровым, но не беспокоились о следствиях, что эти припадки у него часто случаются и со временем проходят.

Кемский искал человека, с которым мог бы разделять свою непостижимую тоску, свои гадания и надежды. Он душевно любил Хвалынского и всегда находил в нем друга и помощника, но только в делах жизни обыкновенной. Когда Кемский забирался в области надзвездные, друг его сначала старался слушать его со вниманием, употребляя все силы, чтоб ясно представить себе то, о чем князь говорил так положительно, но вскоре утомлялся, начинал зевать и наконец редко мог удержаться от какого-нибудь едкого замечания. Кемский не сердился на него, даже не жаловался, ибо не мог требовать, чтоб другие безусловно принимали его мнения, но мало-помалу перестал говорить с товарищем о любимых своих предметах. С каким искренним чув-

ством помышлял он об Алимари! С каким пламенным восторгом вспоминал он о беседе в Токсове! Но таинственный италиянец скрылся из глаз его, и нигде нельзя было найти его следа. Не было сомнения, что он оставил Петербург. Удивительно ли, что Кемский при этих приятных воспоминаниях с душевным удовольствием помышлял о тех, которые разделяли с ним беседу в тот незабвенный вечер!

Встретившись однажды с Бериловым, он приветствовал его как давнишнего, короткого знакомого. Берилов обошелся с ним вежливо, застенчиво, неловко и, по приглашению князя, стал посещать его сначала редко, а потом, узнав добродушие, откровенность, простоту нрава его, чаще и чаще. Кемский полюбил художника, человека с отличным талантом, но странного и причудливого. Берилов был скромный, тих, покорен, даже слишком учтив перед людьми знатными и богатыми, доколе речь шла о чем-нибудь, кроме его художества. Когда же он говорил об искусствах, когда перед ним была хорошая картина, особенно собственной его работы, он становился тверд, смел до дерзости, не давал никому выговорить слова, спорил до слез и нередко выходил из пределов приличия. Но, свернув свой рисунок или отворотясь от оригинала Тицианова, он становился прежним простачком и всепокорным слугою всякого, кто захотел бы им командовать. Не имея родни в Петербурге, он жил несколько лет один, в грязной комнате, которую часто забывали топить, и страдал от грубостей и плутней наемного слуги, который оставлял его по целым дням одного, вечером приходил домой пьяный и бранился с господином своим всю ночь. Берилов, занимаясь работою, частенько не обедал и утолял голод хлебом и квасом, случайно оставленными небрежным Емельяном. Такой образ жизни расстроил его здоровье. Одна добрая соседка, занимавшаяся чужими делами более, нежели своими, увидела бедственное положение Берилова и, испытав, что убеждения и слова на него не действуют, насильно вторглась в его комнату, при помощи полиции выгнала пьяного слугу и определила в услужение к нему свою золовку, о которой можно было сказать, что говорил покойный А.Е. Измайлов о хорошей дворовой собаке: *предобрая, презлая!* Настасья Родионовна вымыла, выскребла, вычистила приют гения; одела его самого в благопристойный сюртук, научила пить чай и кофе в надлежащее время, кормила сытным обедом и прятала лишние его деньги. Сначала вздумала она было принять команду и по искусственной части, но, кроткий во всяком другом случае, Берилов грозно объявил ей, чтоб она отнюдь не смела касаться святыни художеств. Старуха догадалась, и мало-помалу водворилась между юным художником и шестидесятилетнею боцманшею самая нежная дружба. Он предоставлял ей волю во всем, что не касалось главной цели его жизни, и только удивлялся, что Емельян, истрачивая вдвое более, гораздо хуже кормил и одевал его, нежели Родионовна. Она же привыкла к странностям своего хозяина и бранилась с ним только тогда, когда он на картинах своих изображал не одетых женщин и садился на извозчиков без ряды.

Станным покажется, что Берилов, с ограниченными своими познаниями и образованием, бесхарактерный и бестолковый, успел вселить дружбу и доверенность в просвещенного, умного Кемского. Но сколько мы видим в жизни примеров, что человек отличного ума и просвещения всею душою привязывается к необразованному простяку! В этом случае не равенство ума и нрава, а какая-то тайная, неизъяснимая симпатия действует на людей. Эта симпатия влекла Кемского к художнику и привязывала художника к Кемскому.

К тому должно присовокупить еще одно обстоятельство. Князь нашел в Берилове человека, который слушал его жалобы и терпел причуды с молчанием и покорностью, не требовал, чтоб князь занимался им каждую минуту, не гневался и даже не примечал, когда князь целый день не промолвит с ним слова. Родионовна радовалась, видя, что ее питомец знаком со знатным человеком, с сиятельным князем и поддерживала в нем уважение и привязанность к новому приятелю, особенно потому, что для этого гостя не нужно было подавать пуншу. В веселые минуты Кемский заводил речь о художествах и радовался восторгам Берилова, шутил над любимыми его образцами, бранил бритые головы древних лиц италийской школы и мясистые формы Рубенса, смеялся над анахронизмами великих мастеров и выводил артиста из терпения. Однажды Берилов, в исступлении от оскорбления, нанесенного памяти Караваджия, вскричал:

- Да какое вы имеете право цыганить великих людей? Что вы сами? Что вы произвели? Небось, в корпусе, рисовать учились, то есть Андрей Петрович Екимов за вас рисовал - на экзамен - глазки и носики!

- Извините, - отвечал князь с комическою важностью, - я не только любитель, но и сам художник. Не угодно ли посмотреть моей работы? Теперь, конечно, мне некогда заниматься рисованьем, но было время... Миша! Потрудись, брат, принеси зеленую папку из кабинета!

Берилов в молчании вытаращил глаза. Принесли рисунки. В числе их было несколько удачных попыток, но ни один рисунок не был кончен. Наш художник разглядывал их с большим вниманием и удовольствием: он восхищался не самими рисунками, а мыслию, что князь, уважаемый им во многих отношениях, имеет дарование к художествам.

- Ей-богу, изряднехонько! - говорил он. - Бог накажи меня, если я лучше нарисую вот эту перспективу. А эта головка! Хоть бы в академию ее! Ну кто бы ожидал таких прекрасных вещей от природного князя! Ей-ей, прекрасно. Жаль только, что нет ничего конченного.

- И мне самому жаль, - отвечал князь, - да я, видите, художник недоученный, так и все мои произведения по мне пошли. Более всего мне жаль, что я не мог, или, лучше сказать, не умел кончить вот этого ландшафта: я хотел изобразить одно место, где игрывал в детские лета, где гулял с отцом, матерью, братом...

Слезы прервали речь его.

- Позвольте, князь! - в восторге закричал Бериллов. - Я кончу этот ландшафт! Только в большем виде, если не противно! Знаю, знаю как это обработать. Вот тут побольше тени, а там издали - вижу, понимаю! Вы будете довольны.

- И вы также! - сказал князь, отдавая ему бумагу.

- Что вы под этим разумеете? - спросил оскорбленный Бериллов. - Неужели плату? Так знайте, что этого мне не нужно! Если б я брал за свои произведения должную плату, то был бы богаче нашего эконома в академии. Но я гнушаюсь деньгами и не брал бы ни копейки за труды свои, если б не Родионовна и не Андреевский рынок... Боже! Боже мой! - продолжал он вполголоса. - Творить, созидать, работать для потомства - и брать деньги! Деньги! Что это? Негодные бумажки, на которых и ученической головки не нарисуешь. И за мои картины! За этот ландшафт, который я вижу на бумаге! Вижу, сударь, вижу! - вскричал он, оборотясь к Кемскому. - Вижу его в моей душе, и вы вскоре увидите его на деле! Вскоре, то есть... ну, все равно! Только увидите!

Кемский радовался, что восторженный артист забыл о его предложении, и отдал ему эскиз. Бериллов схватил его с жадностью и побежал домой. Месяца три не говорил он князю ни слова об успехе своей работы, а только посматривал на него торжественно. Наконец в такое время, когда князя не было дома, он принес к нему свою картину, написанную в самом большом размере, поставил ее в кабинете князя, осветил ее по всем правилам и, уходя, наказал людям, чтоб они при возвращении князя отнюдь не предупреждали его о том, что он найдет в своей комнате. Он хотел поразить друга своего нечаянностью.

XVI

Кемский, занимаясь попеременно то делами, то мечтами, не замечал бури, которая собиралась над его головою. Алевтина с достойными помощниками подвигалась беспрепятственно к своей цели. Надобно было удалить от брата ее всех людей, которые могли бы препятствовать исполнению ее замыслов. Прекращение знакомства с Хвалынским было ей очень благоприятно. Она поручила Тряпицыну добраться, с кем чаще всего видится князь. Тряпицын донес ей, что чаще всякого другого бывает у него какой-то живописец, человек простой и недалновидный, следственно неопасный; что Хвалынский также нередко посещает князя, но только урывками, будучи слишком занят какою-то должностью. Более ничего не мог он узнать, ибо главный из слуг князя, камердинер его, Мишка, неохотно вдается в разговоры о своем барине и что-то косо поглядывает на господина секретаря, эконома и казначея, когда он, под каким-либо предлогом, явится у них в доме.

- Главное дело, ваше превосходительство, - говорил Тряпицын Алевтине (которая перед домашними людьми не слагала прежнего своего титула), - состоит в том, чтоб удалить сего мошенника Мишку. Я знаю от верных людей, что он обкрадывает своего барина, а князь Алексей Федорович так добр и великодушен, что не изволит сего видеть. Надобно как-нибудь удалить этого вредного холопа, услатить его подальше, чтоб он не мог и воротиться.

Через несколько дней Алевтина объявила Кемскому, что мать Мишкина, живущая в симбирской деревне, опасно больна и непременно желает видеть сына и что управитель, боясь отказа своего барина, обратился к его сестрице с просьбою о ходатайстве. Князь не колебался ни минуты: отправился домой и объявил Мишке о болезни и о желании его матери, сказал, что охотно отпускает его и позволяет оставаться в деревне, доколе будет нужно. Верный слуга, залившись слезами, бросился в ноги к своему доброму барину и в первые минуты не хотел его оставить, но когда сам князь растолковал ему, что обязанности человека к родителям его суть первые в свете, он, скрепя сердце, отправился в дом Алевтины и в тот же вечер послан был в деревню с новым винокурком, выписанным из Лифляндии.

Князь грустил по слуге своему, как по верном друге, Мишка не понимал своего барина умом, но постигал его сердцем, берег его сколько мог, угождал его малым слабостям, не тревожил в часы уныния и честно распорядился его делами. На место Мишки Алевтина пристроила к князю камердинера покойного своего мужа, человека тихого, но глупого до крайней степени. Если б в свете узнали это достоинство Медора, он мог бы сделать блистательную карьеру. Каждое действие, каждый шаг Кемского были известны Алевтине и ее помощнику. Она перечи-

тывала все письма, которые получал или отправлял Кемский, имела сведения, какие книги он читает, словом, обладала всеми средствами к уловлению брата. Всякая другая на ее месте, короче узнав этого добродетельного человека, почувствовала бы к нему еще большую любовь и искреннейшее уважение: все дела, все помыслы, все чувствования князя основаны были на чистой нравственности, на истинном благородстве, и самая мечтательность его была духовная, религиозная. Но это открытие еще более воспламеняло ревность и жадность Алевтины: она видела, что Кемский, вступив в брак по склонности, привяжется к жене всею душою и что судьба детей ее тогда будет зависеть от благорасположения этой жены. Притом же душевное превосходство брата вселяло в нее непримиримую к нему злобу и ненависть. Жестоко, но справедливо замечание, что люди скорее простят ближнему гнусный порок, нежели блистательную добродетель.

Более всего старалась она узнать, нет ли у него какой склонности, не занято ли его сердце. Долгое время не находила она никаких следов, но вдруг поразили ее слова в письме к Вышатины, бывшему тогда в Москве: "Все мои поиски донныне были тщетны. Алимари нет как нет. Это существо таинственное явилось и исчезло, оставив в уме и сердце моем глубокое впечатление. Но я не унываю: буду искать и надеяться, и, когда найду, никакие силы не разлучат нас".

- Нашла, нашла! - невольно закричала Алевтина и сообщила открытие свое Татьяне Петровне и Тряпицыну. У ревности и подозрения глаза велики: они втроем сплели целый роман, уверились, что князь влюблен в иностранку Алимари, что она скрылась, вероятно, по расчетам кокетства, что он твердо намерен на ней жениться и т.д. Открытие ужасное! Алевтина употребила еще один способ, чтоб увериться в этих предположениях. Дня через два, за чаем, когда сидели у нее Кемский и еще несколько человек посторонних, она издалека завела речь об итальянском театре и, когда пошли суждения и споры, вмешалась в разговор, будто невзначай:

- Более всех нравится мне певица... как бишь зовут ее, Саноретти, Гаспарини? Нет, Алимари, кажется?

При этом слове Кемский взглянул на сестру в недоумении, покраснел и ждал продолжения. Для неё было довольно! На замечание одного из гостей, что это должна быть Гаспарини, она согласилась с ним и продолжала разговор равнодушно, как будто не замечая движения в брате. И он думал, что никто не видал его волнения, но оно не укрылось ни от одной из женщин: и старушка Прасковья Андреевна, и Татьяна Петровна, и скромная Наташа заметили, что имя Алимари подействовало на молодого человека с волшебною силою.

- Нечего терять время! - воскликнула Алевтина и объявила Татьяне Петровне, что, любя ее душевно, желает женить на ней брата, особенно потому, что у него есть интрига с иностранкою, бог знает какою, что эта иностранка скрылась и что должно воспользоваться временем ее отсутствия. Татьяна Петровна совершенно постигла намерение и виды почтенной своей благодетельницы и обещала помогать ей всеми силами, а сама в душе положила действовать для себя и употреблять Алевтину орудием к достижению собственной своей цели.

XVII

Если б все люди, с немногими исключениями, родились в свет с одним и тем же талантом, если б они поставляли употребление на пользу этого таланта предметом и целью всей своей жизни, если б ежедневно старались в нем упражняться, до какой степени совершенства достигло бы в теории и на деле искусство, требующее этого таланта! Теперь подумайте, что женщины одарены от природы всеми способами нравиться мужчинам и уловлять их в свои сети, что все воспитание их состоит в усовершенствии этих способов, а вся жизнь посвящена употреблению природных дарований, изощренным воспитанием, - и не дивитесь после этого, что это искусство доведено в свете до высшей степени совершенства! Не дивитесь, что люди умные, образованные, опытные легко попадают в сети, расставленные женщинами ограниченного ума, непросвещенными и во всем другом неискусными. Добрый, благородный, но слишком мягкосердый Кемский не умел остеречься от сетей, расставленных ему прекрасным полом при помощи непрекрасного. Татьяна Петровна, узнав о склонности его к чудесному и сверхъестественному, стала толковать, будто невзначай, об этих предметах и умела обратить на себя его внимание. Она старалась читать те книги, которые он читал в это время, и находила средства занимать его ум и воображение. Где недоставало познаний и рассудка, там употреблялись обыкновенные уловки: молчание, значительная улыбка, будто бы произвольный вздох. Кемский стал привыкать к ее беседе, старался не примечать ее слабостей и недостатков и в скором времени начал находить в Татьяне Петровне достоинства и добродетели. Мачеха и сестра пели похвальный дуэт в пользу сиротки: то-то сердце, то-то душа, что за хозяйка будет, бедная сирота горя натерпелась, так сбережет мужнину копейку. Наташа не вторила этим хвалам; Кемский приписывал это обыкновенному ее хладнокровию и эгоизму; изредка только чудилось ему в глазах ее выражение какого-то сожаления, какого-то горестного чувства. Мысль, что Татьяна Петровна может

сделаться подругою его жизни, что она будет понимать его мысли и разделять чувства, мало-помалу укоренилась в его душе. Он заключал, что эта девица должна иметь необыкновенные достоинства, когда женщины, завистливые и недоброжелательные к своим ближним, каковы Прасковья Андреевна и Алевтина Михайловна, отдадут ей должную справедливость. Он долго собирался открыться в этом, но какая-то непостижимая сила его удерживала.

Однажды, просидев целый вечер у сестры, в беседе с нею и с Татьяною Петровною, он воротился домой в большом расстройстве. Несколько раз порывался он именно в этот вечер объяснить с ними, но никак не смел. Наконец он твердо решил прекратить это недоумение и уже начал обращением к Алевтине, но вдруг послышался из другой комнаты очаровательный голос Наташи - он смешался и умолк. Дома, ложась спать, он взялся, по обыкновению, за книгу, и, когда развернул ее, выпала из нее запечатанная записка, без адреса. Кемский распечатал ее и прочитал на французском языке следующее: *"Берегитесь. Вы стоите на краю пропасти. В последствии времени рады будете отдать жизнь свою, чтоб воротить прошедшее, но уже будет поздно. Вас предостерегает Алимари. 2-го октября 1789"*.

Кемский оцепенел. Читал записку несколько раз, наконец позвал Медора и спрашивал, не присылал ли кто-нибудь записки, не входил ли чужой человек в комнату. Медор клялся, что никого не было, и говорил правду. Кемский поверил ему и крепко задумался. Алимари здесь? Алимари нашел меня? Алимари предостерегает меня от какого-то несчастья, а сам не является! Что это за несчастье? Что за опасность? По службе я не знаю никаких огорчений, врагов у меня нет. Обхожусь я коротко только с ближайшими родными. Одна мысль сменяла другую, и все они безостановочно терзали бедного князя. Во всю ночь не мог он заснуть: лишь задремлет, страшные видения начнут терзать его. Он встал утомленный, измученный; отправился к разводу, потом к сестре. Там все испугались, увидев, в каком он положении. Все удвоили попечения о нем, и даже холодная, бессердечная Наташа, заметив бледность и нездоровье князя, видимо смутилась. Спрашивали о причине его расстройства. Князь отвечал, что накануне читал страшную историю и она снилась ему всю ночь и мешала спать. Алевтина изъясляла самое дружеское соболезнование; мало-помалу обратила речь на скуку одинокой жизни князя, на семейственные радости, которые ожидают доброго человека в счастливом браке, и нечувствительно довела его до того, что он признался ей в желании жениться на Татьяне Петровне! Алевтина крайне обрадовалась этому избранию, но представилась, будто вовсе того не ожидала, и обещала брату поговорить с Танею. Прасковья Андреевна, бывшая при том, заплакала и благословила пасынка, а он, кончив трудное признание, сидел в глубокой думе. Вдруг взглянул в открытую дверь темной залы, побледнел, задрожал и, вскричав:

- Она! Она! - бросился опрометью из комнаты. В передней набросил он на себя шинель, выбежал на крыльцо, кинулся в коляску и закричал: - Домой!

Алевтина, ее мать, Татьяна Петровна, Иван Егорович - все в доме были до крайности изумлены и испуганы этим случаем. Алевтина в ту же минуту поручила Ивану Егоровичу ехать вслед за князем, узнать, если можно, о причине быстрого его удаления, осведомиться, не болен ли он, и, в случае болезни, пригласить его переехать к ней в дом, где удобнее можно будет его пользоваться, фон Драк взглянул на Тряпицына, спрашивая взорами, что делать.

- Поезжайте, поезжайте, ваше высокоблагородие, - сказал Тряпицын, - и постарайтесь непременно убедить его сиятельство к переезду в ваш дом.

Фон Драк поспешил исполнить приказанное. Прискакав в квартиру Кемского, входит он в залу, в гостиную - нет никого, наконец в кабинет, и видит, что князь лежит в обмороке посреди комнаты, а Медор, горько рыдая, старается привести его в чувство. Кабинет был ярко освещен. Всю заднюю стену его занимала невиданная дотоле фон Драком картина, представлявшая сельский вид. Медор рассказал отрывисто, что барин за четверть часа пред сим приехал домой, бледный, расстроенный, и, когда вошел в кабинет и увидел эту картину, принесенную без него живописцем, закричал: "Что это? Где я?!" - задрожал и лишился чувств.

- Батюшка, Иван Егорович, - промолвил Медор, - скажите, ради Бога, что это с ним?

- Ничего, - отвечал фон Драк, - просто с ума сошел. А всему виною проклятые картины да книги. Ну, дворянину ли, князю ли этим заниматься! Но теперь помоги мне, Медор, снести его в карету. Алевтина Михайловна именно приказала мне, в случае болезни, непременно поставить его к ней. Уж она сбережет его!

- Вестимо, батюшка Иван Егорович! До кого другого, а уж до братца ее превосходительство куда как ласкова и милостива. Бережет, как сына родного. Придешь к ней, так опросам конца не бывает: кто-де был у него, куда сам ездил, здоров ли, не грезилось ли ему чего, какие письма он получил, какие отправил, даже какие книги читает - все ей знать надобно. Уж подлинно мать родная! Только, Медор, упаси тебя Боже, если ты хоть словом обмолвишься перед князем.

- Стану ли я поступать против вашего господского приказанья! Для его же добра обо всем доложу вам. Дело его молодое, сам за собою не присмотрит.

Во время этого монолога князя завернули в шубу, снесли в карету, и фон Драк повез его домой. Он все это время был в беспамятстве. Алевтина, Прасковья Андреевна и Татьяна Петровна встретили его с горьким плачем. Его отнесли в особую комнату, раздели и положили в постель. Он очнулся и начал бредить. Алевтина послала за знаменитейшими по чинам и орденам врачами.

И в самом деле, что случилось с Кемским? В разговоре с Алевтиной он чувствовал какое-то мучительное беспокойство, как будто ему предстояло несчастье, и, когда высказал все, что хотел давно сказать ей, когда на минуту показалось ему, будто он облегчил свое сердце, - вдруг невольно взглянул на дверь темной залы и там увидел черную женщину. Она посмотрела на него печально, покачала головою, как будто не одобряя его поступка, и исчезла. Он не мог усидеть на месте и бросился из комнаты, сам не зная для чего, сел в коляску и поспешил домой. Быстрыми шагами вошел он в кабинет и вдруг увидел перед собою изображение знакомого, драгоценного для него места. Бериллов по какому-то таинственному *чутью* отгадал характер ландшафта и изобразил его с величайшею точностью, как будто бы снял с природы. Князь, настроенный уже к необыкновенным явлениям, не догадался, что это давно ожидаемая им картина, вообразил, что действительно перенесен в то незабвенное место: мысли его смутились, чувства взволновались, и он лишился памяти.

XVIII

В Кемском открылись признаки жесточайшей нервической горячки. Для окружающих он был в беспамятстве, сам же сохранил в себе какое-то темное чувство: когда перед его глазами было светло, в слухе его раздавались разные нестройные голоса; ему чудилось, что в него вливают яд и пламя; мучения его усугублялись, становились нестерпимыми и выражались горькими воплями; когда же вокруг него становилось темно, тогда эти мучительные голоса утихали: ему казалось, что он перенесен в другой мир, что руки ангелов поддерживают его разгоряченную голову, что он вкушает небесное целебное питье, и вслед за тем он впадал в сон сладкий и крепительный; он с нетерпением ждал этих усладительных минут и в часы страданий произносил стонящим голосом: "Ночь! Ночь! Наступи скорее: свет мне несносен!"

Наконец все это слилось в одно общее чувство оцепенения.

Долго ли он лежал в совершенном беспамятстве, этого он не помнил; только, пришед в себя, он почувствовал необыкновенный холод; он лежал на чем-то жестком и колючем; вокруг него слышались голоса. Он хотел открыть глаза - невозможно, приподняться - нет силы, протянуть одну из рук, сложенных на груди, - не двигается, вымолвить слово, испустить вздох - недостает дыхания. Мало-помалу приходил он в себя, припоминал прошедшее, старался догадаться, что с ним случилось, и наконец удостоверился, что лежит в гробу, что с ним случился припадок омертвения или мнимой смерти. Он был в совершенной памяти: чувство слуха, а отчасти и зрение, принимали впечатления извне, но весь прочий состав его был в совершенном оцепенении, и все усилия выйти из этого состояния, подать малейший признак жизни движением или голосом - напрасны. Что происходило в это время в душе его? Он был совершенно покоен, как выздоравливающий от болезни после первого крепительного сна; мысль об опасности, в которой он находился, - быть заживо погребенным, уступала место надежде, что ему непременно удастся в скором времени вывести из заблуждения особ, его окружающих. Он припоминал, что с ним было; помышлял о Хвалынском, о Бериллове, о Татьяне, о Наташе; вспоминал, что во сне, так ему казалось, был перенесен на свою родину.

Движение и шум, вокруг него происходившие, прервали это мечтание. Кто-то стоял у его изголовья и рыдал. Вдруг раздался голос Алевтины:

- Ну, полно же хныкать-то! Мертвого не разбудишь. Медор! Сведи Сережку к Наталье Васильевне да спроси, на что это походит - выпускать шалуна из комнаты? Теперь не до него!

- Слушаю, сударыня! Пойдем же, батюшка Сергей Иванович; дяденька уж не встанет. Царство ему Небесное!

Ребенок зарыдал громче прежнего и вышел с Медором.

- Не встанет, - повторила Алевтина, - наконец уgomонился. Я с своей стороны сделала все, что могла, и теперь чиста духом и сердцем пред господом Богом. Четыре доктора лечили его; иногда по восьми раз в день лекарство переменяли. И в аптеку бегал не какой-нибудь холоп, а Эльпифидор Силич, сам лекарь. Уж подлинно как князя лечили, да Богу не угодно было внять нашим молитвам. Да будет Воля Его Святая! Прошедшего не воротишь. Теперь я в доме полная барыня и всему наследница, и сын мой старший вступает во все права покойника. Яков Лукич! Напишите в герольдию просьбу об утверждении за ним фамилии и герба князей Кемских. Да что это Демка не вернулся от портного? Я без траура, как без правой руки. Надобно проучить этих негодяев, а первого злодея Мишку. От его проказ покойник и в землю пошел. Напиши, папенька, Иван Егорович, управителю, чтоб держал его в ежовых рукавицах.

В это время послышался голос вошедшего в залу слуги:

- Графиня Марья Александровна приехать изволили!

- Отказать!

- Нельзя-с, ваше превосходительство: Степан доложил ее сиятельству, что вы дома - графиня изволит идти.

- Ах вы, злодеи! Да я в отчаянии, в спазмах, в обмороке - брат умер! До гостей ли мне!

Атласное фуру графини зашумело в дверях. Алевтина бросилась на стул и громко зарыдала. Князь слышал, как старушка графиня старалась утешить неутешную, как приводила в подкрепление своих увещаний все *общие места*, употребляемые в таких случаях, но тщетно: рыдания Алевтины усиливались с каждой минутой. Графиня, истощив все свое красноречие, умолкла; раздался посреди рыданий и всхлипываний звук прощальных поцелуев, и фуру опять зашумело в дверях. Тон Алевтины в минуту переменялся.

- Никого не пускать на двор! - вскричала она. - Эти визиты слишком меня утомляют; я не вытерплю. Слышите ли, Иван Егорович? - По полу шаркнуло и послышалась дробь: "Да, да, да, да!"

Опять кто-то вошел в залу. Опять раздался звонкий голос Алевтины:

- Это что значит, сударыня? По ком это изволили в глубокий траур нарядиться? Раненько, матушка!

- Да он был мне нареченный жених, тетушка Алевтина Михайловна! - отвечал голос Татьяны Петровны.

- Вот что еще выдумала! Перекрестись, сударыня! Нареченный жених! Пожалуй, еще вздумаешь требовать седьмой доли из наследства! Полно, полно, сударыня вздор нести. Извольте образумиться.

- Помилуйте, тетушка, - возразила Татьяна Петровна, - да разве я не вашу волю исполняла, жертвуя собою? Что мне было радости в этом взбалмошном женихе? Того и гляди, бывало, что в желтый дом свезут его! Я для него, то есть для вас, бросила в Москве жениха красавца и умного. Вы ублажали меня: выдь за него, Танюшка! Здоровье-де его плохое, сегодня - завтра ножки протянет, так мы по-сестрински поделимся. Вот Бог прибрал его до срока, так я вам и в тягость. Да виновата ли я, что вы не рассчитали? Вообразите, что я, в угождение вам, рисковала быть женою полоумного человека, который всю жизнь бредил, как в белой горячке!

- Ах ты, неблагодарная! - закричала Алевтина. - Да разве я не добра тебе хотела! Вон, сию минуту вон из дому! Поносить покойного братца, этого ангела Божия! Он-де взбалмошный, он сумасшедший! Ах ты, московская вертушка! Да как ты смела? Убирайся к своему болвану жениху! Экая красавица! Еще, чай, стреляться за тебя будут! Вон с глаз моих!

Татьяна Петровна громко заплакала и вышла из залы; Алевтина же, обратясь к Тряпищину, сказала:

- Прошу вас, Яков Лукич, постарайтесь отправить эту мамзель как можно скорее обратно в Москву. Вот благодарность за мои попечения! Бог с нею! Я ей зла не желаю. Да поторопите, чтобы скорее изготовили траур для детей. Князю Григорью плерезы велите нашить пошире. Сережку баловать нечего: и без обнвы проживет. Довольно уж на веку своем заел из имения бедных моих детей, да теперь я госпожа в доме! А вы, Иван Егорович, извольте ехать в Лавру, да похлопочите, чтоб погребение было приличное нашему званию. Я в важных случаях, вы знаете, денег не жалею. Где идет дело о родственном долге, о чести фамилии, там экономия не у места.

Алевтина вышла из залы. Все последовали за нею. Настала тишина.

Горестные ощущения волновали бедного Кемского: пред ним спала завеса; он увидел во всей наготе жадность, неблагодарность, коварство и мстительность своей сестры и подлость ее помощников; увидел, что Татьяна Петровна играла выученную ею роль, и только удивлялся, как не заметил этого ранее. И в каком гнусном виде являлись сердце и нрав Алевтины: в общественной жизни она умела воздерживаться и в порывах страстей говорила языком женщины благовоспитанной, а ныне, когда не стало надобности притворяться, унизилась до ругательств, каких постыдилась бы ее ключница. Кемский в эти ужасные минуты не думал о своем бедственном положении и даже готов был желать действительной смерти. К тому присоединились и терзания оскорбленного самолюбия: его любили, ласкали, уважали за одно его богатство. Один Сережа плакал по нем, но он еще ребенок: возмужав, и он сделается холодным эгоистом и лицемером. В голове страдальца закружилось: он стал забываться, неясные мечтания затолпились пред его глазами, и он опять впал в беспамятство.

*Чем позже приезжает скорая,
тем точнее диагноз...*

*Больной нуждается в уходе врача,
и чем дальше врач уйдет,
тем лучше...*

XIX

Но это забвение не было уже прежним мертвенным оцепенением. Сильным потрясением чувств произведена была в нем благотворная перемена: он погрузился в тихий, крепительный сон. Когда он чрез несколько часов проснулся, вокруг него было темно. Лицо его было покрыто прозрачною дымкою. У изголовья горела тусклая свеча, и слышалось тихое чтение псаломщика. Кемский мало-помалу пришел в себя и вспомнил, что с ним случилось и где он находится. Он ощущал возрождение чувств и сил своих, мог дышать свободнее, слышал биение сердца, думал, что может и двигаться, побоялся подать знак жизни, чтоб не испугать чтеца. В комнате было очень прохладно. Вдруг растворилась дверь, и раздался голос ключницы:

- Володимирыч! Подь-ко сюда, поужинай, да и сосни.

- Нельзя, бабушка, - проворчал псаломщик, - не смею отойти от покойника.

- Полно манериться, родной! Сама генеральша велела накормить и уложить тебя. Что теперь читать? Дело ночное. У нас и лекарей на ночь отпускали и только с утра начинали давать лекарства. Легкое ли дело тебе завтра до Лавры за покойником тащиться! Покушаешь, отдохнешь, так с силами соберешься. А завтра я ранехонько разбужу тебя. Ступай небось!

- Конец - и Богу слава! - псаломщик захлопнул книгу и ушел, взяв с собою свечу.

Князь остался один в совершенной темноте. Он не знал, что делать: оставаться в гробу - опасно, холодно; встать - перепугаешь весь дом, да и будет ли силы добраться до жилых покоев? В это время ударил час, послышался шорох легких шагов, и луч света проник сквозь замочную скважину двери, ведущей в общий коридор. Сердце его забилося надеждою. Отмыкают дверь, она отворяется, и входит в залу женщина - в черном платье, с распущенными по плечам черными волосами, неся в руках свечу. Кемский, увидев свою всегдшнюю мечту, вообразил, что это явление возвещает ему о наступлении смертного часа. Но она не останавливается вдали, как обыкновенно, а подходит медленно, озираясь во все стороны, ближе и ближе, ставит свечу на столике у изголовья, а сама обращается к гробу. В эту минуту Кемский узнал Наташу, бледную, с покрасневшими от слез глазами. Она подошла к гробу, бросилась на покойника и прижала горячие губы к его руке. Слезы ее, жаркие слезы текли ручьем. Рыдания занимали дух.

- Теперь могу сказать тебе, - промолвила она едва внятным голосом, - как страстно я тебя любила! Могу тебе поклясться, что никого в мире так любить не буду и не могу!

Слезы пресекли ее голос. Кемский был в изумлении; сердце его забилося восторгом; он готов был прижать Наташу к груди своей, но страшился испугать, убить ее; старался не подать ни малейшего знака жизни, удерживал дыхание, сторожил за каждым биением пульса. Наташа приподнялась, отошла от гроба, села на стул и в молчании вперила томные глаза свои на любезного. Чрез несколько минут растворилась дверь в залу и вошла другая девица, жившая в доме Алевтины.

- Что вы это делаете, Наталья Васильевна! - спросила она с состраданием. - Вы мучите себя, а мертвого не разбудите. Упаси Боже, если Алевтина Михайловна узнает, что вы и прощаться к нему приходили!

- Оставьте, оставьте меня, Авдотья Семеновна, - сказала Наташа слабым голосом, - дайте на него наглядеться. Завтра, чрез несколько часов, увезут его навсегда.

- Полноте тосковать, - продолжала девица, - уж вы ли мало для него делали! Вот третья неделя, что глаз не смыкали, сидя у его постели. И батюшка ваш старался об нем, как о родном сыне, но, видно, Богу не было угодно, чтоб князь выздоровел. Перестаньте ради Бога терзаться!

Наташа объявила решительно, что хочет провести сколько можно более времени у тела того, кто ей был всегда дороже в жизни. Авдотья Семеновна перестала увещевать ее, но не уходила. Из речей их Кемский узнал, что Наташа с первого дня его болезни увидела, сколь мало будет пользы от леченья, которое производилось с шумом и только для виду, что днем толпилось около его постели множество докторов, лекарей, подлекарей, а с наступлением ночи он оставался один, без всякой помощи и призрения. Алевтина именно запретила и людям оставаться на ночь при больном под тем предлогом, что он имеет надобность в отдохновении. Наталья Васильевна воспользовалась этим обстоятельством, бросилась к отцу своему и рассказав все обстоятельства фамилии, умоляла его помочь несчастному которого готовы уморить жадные наследники. Василий Григорьевич Павленко, человек истинно добродетельный, врач искусный и совестный, согласился на просьбы дочери, не подозревая, впрочем, чтоб это усердие ее к благу молодого князя было иное что, как любовь к ближнему. При помощи одного старого верного служителя почтенный врач являлся в дом с наступлением ночи, смотрел больного, испытывал предписанные ему лекарства и, когда не находил их действительными (что случалось почти всегда), давал ему свои. Между тем это одностороннее лечение не могло иметь совершенного успеха: оно лишь на несколько времени облегчало страдания больного и достав-

ляло ему краткое успокоение, и он непременно сделался бы жертвою двух противоположных систем, если б здоровая, неиспорченная натура его не поддержала.

- Что ж делать, - сказала наконец Авдотья Семеновна, - ваша совесть может быть покойна: вы сделали все, что могли, к его спасению. Пусть терзаются те, которые его сгубили!

- Нет, Дуняша! - отвечала Наташа голосом тоски и отчаяния, - Совесть моя не может быть покойна. Страшно вздумать, а мне кажется, что и я отчасти виновна в его гибели. Я, я, по внушению любви к нему, отважилась на поступок, который, вероятно, стоил ему жизни. Давно видела я замыслы Алевтины, видела, как эта коварная злодейка опутывает бедного легковерного брата, видела, как она, отчаявшись дожить до его смерти, решила отравить его жизнь, заставив его вступить в брак с женщиною, его недостойною. Татьяна Петровна не знала, не понимала, не любила князя, могу сказать: она ненавидела его; но любовь к богатству и знатности была в ней сильнее этой ненависти, и она решила воспользоваться случаем. Он стоял на краю гибели. Признаюсь, любовь моя к нему, любовь безотрадная и безнадежная, заставляла меня не раз терпеть все мучения ревности; однако, если б я могла быть уверена, что в браке с другою ожидает его счастье, я все перенесла бы в молчании. Но видеть его несчастье, видеть, что его готовы погубить навеки, связав неразрывными узами с холодною, бессердою и глупою кокеткою, - этого я не могла вытерпеть, я решила его предостеречь. Я написала к нему записку, в которой немногими словами старалась показать ему опасность его положения; записку вложила в книгу, которую Медор приносил на просмотр к Алевтине Михайловне. Князь читал эту книгу каждый вечер и конечно прочитал мою записку.

- Так что ж? - спросила Авдотья Семеновна. - Тут греха никакого нет, напротив, вы исполнили долг свой.

- Да! - отвечала Наташа протяжно. - Если б я удовольствовалась этою запискою! Не любовь внушила мне это средство, а ревность, признаюсь, к стыду моему, ревность заставила прибавить одно слово, которое, как теперь вижу, поразило несчастного. Я заметила, что одна итальянская фамилия, фамилия какой-то певицы, невзначай произнесенная, заставила его покраснеть, и я подписала эту фамилию под запискою. На другой день он приехал к нам беспокойный, расстроенный, больной, и вдруг сделался с ним припадок. Я уверена, что этим именем растравила рану его сердца, убила его!

Что чувствовал в это время несчастный счастливец, то легче вообразить, нежели описать возможно. Одну женщину в свете он почитал достойною любви своей, но убегал ее, воображая, что она холодна, нечувствительна, что она его ненавидит, и эта самая женщина любила его пламенно, страстно, жертвовала всем для его спасения!

Слова Наташи прерваны были шорохом шагов в коридоре.

- Это батюшка ваш! - сказала Авдотья Семеновна печально. - Мы не успели уведомить его о несчастье: он приехал навестить больного. Как он, бедный, огорчится!

В это время растворилась дверь, и в залу вошел почтенный старичок невысокого роста.

- Батюшка! - вскричала Наташа, бросившись к нему. - Все напрасно! Он скончался.

- Знаю, знаю! - сказал он тихо. - Я пришел с ним проститься.

Он подошел к гробу и перекрестился. Наташа сняла дымковый покров, и старик приложился к устам покойника. Вдруг он приподнялся и сказал:

- Помилуйте, да он не умер!

- Не умер! - вскричали в один голос и дочь его и Авдотья Семеновна.

- Тише, тише! - сказал Василий Григорьевич, вынул из кармана скляночку с спиртом и начал тереть ему виски. Кемский обрадовался, что может подать знаки жизни, не пугая людей: громко вздохнул и приподнял руку.

- Жив! Жив! - закричали женщины.

Авдотья Семеновна побежала за людьми; мнимоумершего подняли из гроба, вынесли из холодной залы в его спальню, положили в теплую постель. Он хотел говорить. Павленко просил его успокоиться. Вскоре благодетельный сон смежил его утомленные веки.

Уже было светло, когда громкий шум разбудил его. Комната была наполнена людьми. Павленко сидел у его постели и держал его за руку. Наташа стояла в ногах и смотрела ему в лицо. Они не обращали внимания на Алевтину, которая бесновалась посреди безмолвного своего штаба. Иван Егорович вытянулся стрункою в форменной позиции и глядел на нее с раболопством. Тряпицын рассчитывался с псаломщиком. В отдалении стояли Авдотья Семеновна, Медор и несчастный слуга, впускавший Павленко в комнаты князя. Изредка отдергивалась занавеска стеклянной двери, и Татьяна Петровна заглядывала в комнату.

- Кто это осмелился впускать чужих людей в мой дом? Это ты, мошенник Тимошка! В деревню тебя, в пастухи! А ты, Авдотья Семеновна, изволь-ка сегодня же убираться из дому. Кто это тебя выучил черт знает кого принимать у меня в доме! И какой вздор выдумали, будто братец ожил! Сумасшедшие вы, что ли?

- Извольте посмотреть сами, - тихо сказал Василий Григорьевич, - князь приходит в себя. Алевтина подошла, увидела, что брат ее раскрыл глаза, и в безмолвной злобе побледнела; но вдруг опомнилась и кинулась обнимать его:

- Братец любезный! Ангел мой! Бог возвратил тебя мне.

Кемский удержал ее и произнес слабым голосом:

- Алевтина Михайловна! Оставьте меня в покое. Позвольте - вижу, что вы хотите сказать: я в вашем доме, но я здесь поневоле. Освобожу вас от моего присутствия как можно скорее. Несчастный этот случай дал мне способ узнать истинных друзей моих. Наталья Васильевна! Жизнь моя - есть ваш дар, и вам она принадлежит отныне. Вы и почтенный родитель ваш - мои родные. Ни слова, Алевтина Михайловна! Людей не извольте трогать - они мои. Одному мне они обязаны отчетом в своих поступках.

Алевтина молчала в бешенстве. Иван Егорович дрожал со страху. Тряпицын дерзнул прервать молчание:

- Но, ваше сиятельство, на основании духовного завещания покойного вашего родителя...

- Молчать! - закричал Кемский, приподнявшись в постеле. - Вон отсюда, мерзавец!

- Ради бога, успокойтесь! - сказал ему Павленко и обратился к Ивану Егоровичу: - Вы будете отвечать пред законом, если попрепятствуете его выздоровлению: ему нужен покой. Вы хозяин в доме, прикажите всем вашим домашним выйти отсюда!

Иван Егорович обратился к Алевтине и подал ей знак, что должно повиноваться. Она поспешно вышла из комнаты и все последовали за нею, кроме врача и его дочери.

Продолжение следует...

Николай Греч.

С.-Петербург. Роман впервые издан в 1834 году.

Как Вы планируете лечить этого парня?

- Будем закапывать.

- Капли?

- А Вы оптимист!



ПРИТЧА ПРО ГНИЛУЮ ЛУКОВИЦУ (по Ф.М.Достоевскому)

Скупа была Марфушенька не в меру.
Свое отдать – по ней, что в сердце нож!
И малую имела в Бога веру:
Ну есть, так есть, а нет Его – ну, что ж!
Однажды к ней соседка обратилась,
Просила одолжить ей овощей,
Мол, издержалась вся и не сварила
К обеду для семейства нынче щей.
Марфуша охала и волновалась,
Клялась, что в доме нету овощей,
Искала долго: «Вот всё что осталось!» –
Дала гнилую луковицу ей.
Ушла домой почти ни с чем соседка,
Марфуша ж начала переживать,
Что ходит та просить взаймы нередко:
Уж очень не любила в долг давать!
Внезапно смерть подкралась к Марфуше.
Кто б мог подумать пару дней назад?
И Ангелы её скупую душу
Внесли по воле Божьей прямо в ад.
В зловонном море плавала Марфуша,
Где стоны вечные и скрежет был зубов,
И черные от вечной злобы души
Томились в бесконечности веков.

Спросил у Бога Ангел вдруг хранитель:
«Как быть, ведь были ж хорошие дела?
Она не только скряга и копитель,
Но луковицу как-то подала».
«Ну, что ж, - сказал Господь,- тогда достойно
За хорошие добром воздать дела.
Возьми ту луковицу и тяни пристойно
Ее из ада. Милости хвала!»
Увидев лук, вцепилась Марфуша,
Руками крепко постаралась лук схватить.
И медленно её из ада душу
Стал Ангел добрый к Небу возносить.
Но и другие, видя это чудо,
Схватились за Марфушу, вот дела!
Пытались тоже выбраться оттуда,
И Ангел всех тихонько поднимал.
Узрев, что с ней спасаются другие,
Марфуша закричала: «Лук-то мой!»
Брыкаться стала, бить всех злобно с силой,
И лук не выдержал возни такой.
Так жадность не позволила подняться,
И в ад вернулись души всех во век.
Блажен кто смог со скупостью расстаться!
И жалок жадный в жизни человек!

18.05.2015 Владимир Невярович